

Станислав РАССАДИН

Все потомки болеют эгоцентризмом: рассуждая о судьбе предшественников, тянут одеяло на себя, примеряют их судьбы и обличия на свой рост и размер, задним числом и умом переосмысливают их жизнь и даже смерть. Все, говорю, даже лучше. Даже те, кому, в отличие от отдаленных потомков, дано знать, а не догадываться.

«Двадцать седьмого августа (ошибка: 24-го. — Ст. Р.) тысяча девятьсот двадцать первого года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, — трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, Георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, в расцвете жизни...» Говорит Георгий Иванов, гумилевский ученик-подражатель, которому после смерти учителя предстояло вырасти в поистине большого поэта. Впрочем, и в автора псевдомурава — в том смысле, что его «Петербургские зимы» и даже статьи-портреты, написанные блестяще, полны самой произвольной выдумки. Так и тут. «Отважный заговорщик». «Блестящий» — едва ли не вымышленный конец... Так ли?

Не так. Уже неинтересно и поздно доказывать бесспорно доказанное: не был Гумилев участником так называемого Таганцевского заговора, не сочинял прокламаций, не держал дома кассу заговорщиков (так что и жена Иванова, поэтесса Ирина Одоевцева, якобы видевшая своими глазами «денги для спасения России», которыми был набит ящик стола Гумилева, тоже, как говаривал Гоголь, пригнула для красоты сюжета). Больше того, самого заговора не было — была провокация петроградской ЧК, занятие, которое вскоре станет привычным для

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвеннее цепенеет ночь.

Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:

Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темн хребит русского поэта:

Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же хребит выну,

Горькая детубийца, — Русь!

И на дне твоих подвалов сгину

Иль в кровавой луже поскользнусь, —

Но твоей Голгофы не покину.

От своих могил не откажусь.

Докопает голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной:

Умирать — так умирать с тобой

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Максимилиан Волошин.

Памяти А. Блока и Н. Гумилева. 1922 год

этого славного органа, а по тем временам еще в новинку. То, к чему Гумилев не был готов, уж тем более не торопа «блестящее» завершение своей судьбы.

Правда, еще за пять лет до расстрела он напишет как бы пророческое стихотворение о «невысоком старом человеке», который «стоит пред раскаленным горном» и занят изготвлением того, что разлучит поэта с землей: «Пула, им отлитая, провиснет над седою, вспененной Двиной, пула, им отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной». Но стихи — не прогноз Нострадамуса, тем более речь о немечком рабочем, о немецкой пуле, и Двина не с ветру взызлась: полк, в котором служил вольноопределяющийся Гумилев, дислоцировался на ее берегу. Вообще, обходясь без метафор, он пролил себе иную судьбу.

«Николай Степанович почему-то думал, что он умрет пятидесяти трех лет, — это воспоминание В. К. Шилейко, востоковеда, поэта и, между прочим, второго (как раз после Гумилева) мужа Ахматовой. — Я возражал, говоря, что поэты рано умирают или уж глубокими стариками (Потчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил развешивать мысль, «что смерть нужно развешивать и что природа скупилась и с человека выжмет все соки и, выжав, — выбросит», — и Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны: «Меня не убьют, я еще нужен».

И вот что надо бы наконец уяснить тем, кто даже гибель поэтов использует в небескорыстно-идеологических интересах (как, к примеру, самоубийство Есенина объявляют убийством, притом в роли убийц выступают у кого НКВД, у кого — злокозненные евреи). Эта трагедия всегда глубоко индивидуальна, она, если даже случайна на первый взгляд, всегда часть судьбы, часть отношения поэта к обществу или власти.

Гибель Гумилева — закономерна, да! В том смысле, в каком была неизбежна антиинтеллектуальная позиция Советов, в следующем, 1922-м году сходящих «Философский пароход», на котором были выдворены за рубеж десятки лучших российских ученых, писателей и философов (неизбежна, логична, хотя даже один из высказавшихся, Николай Бердяев, растерянно поводит плечами: мол, странная, непонятная акция). Так же и Гумилев, с азартом работавший в учрежденном Горьким издательстве «Всемирная литература» и исповедовавший убеждение Гете: «Политическая песня — скверная песня», должен был казаться врагом. Пусть убийственная формула «гнусная гумилевщина», высказанная Федором Раскольниковым, будущим облицователем Сталина, а пока — одним из большевистских полужождей, подстегивалась ревностью: сердцем Гумилев поживал в любовниках его жены Ларисы Рейснер. Пусть почти комично выглядела

Век. — 1996. — 23-29 авг. — с. 11. Август 21-го, или Смерть поэтов

75 лет назад умер Александр Блок и расстрелян Николай Гумилев



Александр Блок на смертном одре



Николай Гумилев

бдительность пролетарского поэта Арского, который, попав на его выступление и услышав строку из стихов об Африке (!): «В белых перьях большая птица», сказал Корнеев Чукотскому: «Вы понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?.. Белая птица. Здесь намеки на Деникина».

Все равно чутье никого не обманывало: ни мужа-ревнива, ни дурака-стихотворца, ни тем паче чекистов, убивших поэта — тут Георгий Иванов прав — «в расцвете жизни». И все же, и все же...

Политически спекулировать на чужой бы то ни было трагедии не стоит хотя бы из-за того, чтоб, разрешая проблему «художника и власти», не стричь всех под одну гребенку. Разно бывает. Скажем, Семен Гейченко, хранитель Пушкинских Гор, тонко заметил, что тридцатилетний Пушкин «прожил не одну, а десять, двадцать жизней». Уходил из жизни очень старый, безмерно усталый, залегавший и запутавшийся человек. Не то ли можем сказать и о поэте, умершем за семнадцать дней до гибели Гумилева, — об Александре Блоке?

Рвет сердце чтение «Дневников» того же Чукотского — например, как Корней Иванович, приехав с Блоком (как раз в 1921 году) в Москву на публичные выступления, видит полупрозрачного, полунитерского к тому, что вчера был безусловным кумиром, и стыдно сказать, спешно организует клаузу на следующий вечер: «Вызав нескольких знакомых барышень, я сказал им: что завтра будет восторги!.. Аплодировать после каждого стихотворения». Назавтра — сработало, но на выступлениях в Доме печати некий «тов. Струве», выйдя на сцену, бодро сходил: «Товарищи! Где здесь динамика?! Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец».

Впрочем, страшней было то, что сам «тов. Блок» безропотно согласился: «Верно, верно! Я действительно мертвец». Таким была

«Эта смерть для меня — роковой часовой бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот не выдалась, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь... Вот и стучало мне его смертью: пробудись или умри... И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой гуманной жизни, или смерти. Орангутангом душа жить не может».

Андрей Белый — Владиславу Ходасевичу, 9 августа 1921 года

ощущал, таким выглядел. Снова Чукотский, но уже не дневник, а книга о Блоке 1924 года: «Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предомой сидел не Блок, а какой-то другой человек... Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый».

— Вы ли это, Александр Александрович? — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня».

Точь-в-точь сделанное Евгением Замятиным описание жуткого рисунка Юрия Анненкова (иллюстратора «Двенадцати») «Блок на смертном одре»: «...Это — не портрет мертвого Блока, а портрет смерти вообще — его, ее, вашей смерти...» Таким уходил из жизни, таким уже был при ней певец «Прекрасной Дамы» и «Седого утра», ставший автором «Двенадцати». Поэмы великой, поэмы загадочной. Трагически загадочной — то есть скрывшей в себе трагическую за-

гадку, и так глубоко, что на поверхности возникают разгадки одна страннее другой.

«Однажды Горький сказал ему, что считая его поэму сатирой. — Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни. — Сатира? — спросил Блок и задумался. — Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю» (и опять Чукотский).

«Я не знаю» — то была чистая правда: разгадка не давалась ему самому. Он даже не знал, хороший или дурной поступок (а то и проступок) он совершил, написавши поэму, и, встретив непримиримую к большевикам Зинаиду Гиппиус, спросил ее: «Вы подложите мне руку?» — и покорно снес наденный ответ. Тем более зацитированы его слова, сказанные, кстати, в ответ на упрек его постоянного соперника Гумилева, что финал «Двенадцати» («В белом венчике из роз — впереди — Иисус Христос») искусственно прилеплен: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос».

Отчего «к сожалению»?.. «К счастью» — должны были бы радостно возразить советские толкователи, если бы их не смущала «двойственность позиции автора», попытка соединить революционную идеологию с «поповщиной». Впрочем, утешались они, как никак дело большевиков освещено. А с другой стороны, Гумилев говорил, что Блок «вторично распыл Христа», Бунин — что в поэме «какой-то сладкий Иисусик, плывущий» во главе «своих, грабителей и убийц»; выдвигались и версии фантастические — вроде той, что Христос потому «впереди», что краснотвардейцы ведут его на расстрел... Не добавит ли как вскоре поведут Гумилева?

Такое разнообразие ответов говорит о том, что одного-единственного попросту нет. «Я не знаю». Зато есть — и уж этим то знанием мы, к несчастью, обременены — та реальность, которая загнала Блока в трагическую безотчетность.

«...Слушайте Революцию», — заклинал он собравшихся-интеллигентов и, сам будучи одним из бескорыстно-совестлившихся представителей этого сословия (бескорыстие простиралось до презрения к собственному призванию: «Был он только литератор модный, только слов чувственных творец»), оправдывал то, что оправданию не подлежало. Что было по нему самому, по самому для него дорогому:

«Почему дряхлят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой».

(Образ, достойный не Шеллина, а Демьяна Бедного).

«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и поролли девок...» Стоп! А библиотеку в любезном его сердцу Шахматове жгли, а по клавишам блоковского пианино скакали, любуясь, как они разлетаются из-под пяток, — тоже за то, что там насиловали и поролли? Но у интеллигента и на это есть отговорка: «...не у того барина, так у соседа». Короче, вот он, пресловутый грех, а справедливое все же сказать — трагедия русской интеллигенции, призвавшей «возмездие» (как Блок и озаглавил свою излюбленную поэму).

Поэма же «Двенадцать», где — Бунин прав — краснотвардейская шайка изображена именно шайкой «бессмысленных и беспощадных» убийц и при этом все-таки в самом деле освещена символом справедливости Иисусом Христом, — это, я бы сказал, акт самоубийства. Блок видел и чувствовал, что его мир гибнет, что гибель неизбежна — в чем был, увы, прав, ибо Октябрьская революция совсем не была случайным следствием заговора кучки радикалов или чужой бездарной политики последних Романовых; то был всей историей подготовленный катаклизм. И вот от сознания неизбежности — плюс все та же гипертрофия совестиости — Блок оторвал от сердца, отдал «младым, неизвестным» Христа.

Оставалось умереть — сперва как поэту («Все звуки прекратились», — скажет он и

закончит шуточный мадригал страшной строкой: «Писать стихи забывший Блок», затем и физически. «...Слопала-таки поганая, гнившая матушка Россия как чужака своего поросенка», — запишет он незадолго до смерти; звучит сильно, однако справедливо ли? Дело не в порыве немедля закрыть грубую обиженную попку «матушку»; дело, как ни странно, в том, что Блок возводит напраслину на самого себя. «Но пойми: несправенное право самому выбирать свою смерть», — скажет вторая жертва кровавого августа 21-го года, второй герой

«Гумилев Николай Степанович, 33 лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Изд-во «Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской Боевой Организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности». О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти».

«Петроградская правда», 1 сентября 1921 года

этой статьи. И не ошибется — даже при том, что ее выбрали за него.

Блок и Гумилев умерли в разных возрастах — разница много больше пятилетия, разделившего сорокалетний смертный срок первого и тридцатипятилетний — второго.

«Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машину стриженой голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной...» Говорит Владислав Ходасевич, и слова его, который смладу был, возможно, даже чрезмерно взрослым, звучат снисходительно. Но и сам Гумилев сказал о себе, что ему вечно тринадцать лет. А как же иначе? Не он ли увлеклся Майн Ридом, журналом «Мир приключений», не он ли в стихах воспевал романтику риска и авантюры («Я конквистадор в панцире железном» и знаменитые «Капитаны» со сверхзнаменитым: «...Или, бунт на борту обнаружив, из-за посяр врет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет»). Все так, и в Африку его повлекла не исследовательская страсть, а самоутверждение чеховского гимназиста Чечевичина, и дуэль с Максимилианом Волошиным была осмеяна прессой в той интонации, в какой солидные люди журят подростков, да и война... Нет, не будем упрощать: фронт — дело серьезное, и два солдатских Георгиевских креста («...Но святой Георгий тронул дважды пулю не тронутую грудь») — не бутафорские побрякушки. Однако не зря память очевидца сохранила такой эпизод. Командир эскадрона хвалит вольноопределяющегося Гумилева за меткую стрельбу, и унтер-офицер выкрикивает: «Так что, ваше высочайшее одобрение, разрешите доложить: вольноопределяющийся — они охотник на львов». И тут — Африка, Майн Рид, Стивенсон... Уж не Тартарен ли?

Решусь сказать, что и став главой школы акмеистов, собрав великолепную троицу — он сам, Ахматова, Мандельштам, Гумилев и

роль мэтра, учителя, способного научить поэзии (изрядно раздражавшую Блока, отщепенца соперника в статье, выразительно названной «Без божества, без вдохновения»), играл с той истовой серьезностью, с какой дети играют во взрослых. Но умер Гумилев не юношей — опять же имею в виду, конечно, не физический возраст.

Что ни говори, но как великий поэт он вошел в наше сознание не стихами о конквистадорах, даже не «Капитанами», даже не строками об «изысканном жирафе» с озера Чад, так похожими на многократно улучшенного Северянина. «Он стоит пред раскаленным горном...», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Слово», «Шестое чувство» — вот (да, немногие!) стихотворения, которые в согласии с выношенным русской поэзией критерием можно назвать гениальными. И, конечно, еще — «Память»: «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы менеем души, не тел...» Эта биография собственной души (или по Гумилеву выходит — души?) и есть подтверждение того, на какую высоту поднимался и наконец поднялся поэт, на ней и застигнутый палаческой пулей.

Память, ты рукою великании
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасива и тонок,
Полобивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, Память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

Знаки взросления, перемены, перевоплощения ревниво отыскиваются в себе самом, один порицается, другие одобрены: «Он совсем не нравился мне, это он хотел стать богом и царем...» Заметим, все еще «он», а не «я». Зато: «Я люблю избранныка свободы, мореплавателя и стрелка...» Но вот к чему ведет Гумилева неуклонное преобразование: «Я — упрямый и упрямый зодчий храма, возстающего во мгле, я возревновал о славе Отчей, как на небесах, и на земле. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут ясны стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны». Да, лишь когда страна обретет духовное величие («Новый Иерусалим», «новое небо и новая земля» — это из Откровения Иоанна), тогда будет, как сказал сам Гумилев, честно заработано право умереть.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Вида льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

Лев и орел — символы евангелистов Марка и Иоанна; путник — Христос. Или — Смерть, как расшифровала Ахматова, хотя противоречия нет: Сын Человеческий, не отданный никому, идет забрать душу исповнившего долг поэта. Но подобно двенадцати из поэмы Блока, а может, и сам Петруха, убивший былую зазубу Катюшу, ушел в расстрельную часть ЧК? — опередили Того, Кто «в белом венчике из роз».

Будь прокляты те, кто сживает художников со света, но трижды (хотя возможна ли тут мера и иерархия?) те, кто сбивает их на взлете.

Блок умер, изжив себя до состояния отращения к жизни, Гумилева убили, едва он стал собою — в высшем смысле. И, увы, долго не могли простить ему, что он убрался с земли не добровольно, заставивши власть потрудиться.

Их посмертные судьбы столь же различны, как их концы, и так же схожи, как общая причина гибели обоих. Блока — увечили, приспосабливая к официальной идеологии, так что, допустим, трагичнейшая строка «И вечный бой! Покой нам только снится...» стала традиционно бодряческим заглавием статей об успехах ли партии или о битве за урожай — словно это не она продолжена: «...сквозь кровь и пыль». Из Гумилева сделали агента империализма (не шушу, не до шуток: «он был поэтом агрессивного капитализма, перерастающего в империализм»), после и совсем наложив запрет на упоминание имени; помню, как в 60-е или 70-е годы мой добрый знакомый, астрофизик Иосиф Шкловский, ликовал, протискиваясь в известную свою статью гумилевское: «На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей, на Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья». (Правда, они там скорее должны были быть красными, уточнял педантичный Иосиф.) Помню и то, какой скандал вызвало это — анонимное — цитирование, едва неведомо наступали об имени автора.

Занятно, но все это совмещается с тем, что мало было поэтов из самых печатаемых, кто так мощно бы повлиял поэтикой и пафосом мужественности на длинный ряд советских стихотворцев, в первую голову на Тихонова и Симонова, на Луговского, Светлова, Прокофьева... Думаю, что отчасти и временно — даже на Маяковского.

Он, испытывавший на себе притяжение Блока и резко от него оттолкнувшийся, единожды испробовав чисто гумилевскую стезю в сильном и таком, кажется, «немаковском» стихотворении 1916 года, озаглавленном «Россия»: «Вот иду я, заморский страус...» Ну чем не: «...На озере Чад изысканный бродит жираф? И дальше: «Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья, душа, уложись! И иная окажется родина, вижу — выжжена южная жизнь... Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! Бритвой ветра перья обей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декабреев».

Гумилев ушел от «южной» экзотики к «Памяти», к «Слову». Куда ушел Маяковский?

Отвариваясь опасно: не присоединяясь к пошлой нынешней моде охавания этого, что бы там ни было, большого поэта. Речь лишь о том, что происходило, что не могло не происходить в поэзии и в сознании, освобождаясь от духовных ценностей Блока и Гумилева — азартно и бесшабашно: «Орете: «Пожарны! Горит Мурило!» А мы — не Корнелия с каким-то Расином — отча, — предложи на старье меняться, — мы и его обольем керосином и в улицы пустим — для иллюминации».

«Не так, товарищ» — слабо звал Блок к Маяковскому, пытаясь его понять, идя на уступки: «Не меньше, чем вы, я ненавижу Зимний дворец и музеи. Но...» А какое там «но»? Родной отец, сжигаемый ради того, чтобы иллюминировать дорогу в грядущее, — образ, конечно, впечатляющий, но выдающийся чрезмерное старание, натуру, истерику интеллигента, старающегося не отстать от решительных прототипов «двенадцати». И, конечно, поэт, додумавшийся (недоучивавшийся — чувство его как раз было остаточно) до такой крайности нарушения и разрушения человеческих норм, сам торопил свою гибель: представить себе Маяковского пережившим 30-е годы трудно, помешали бы крупность, громоздкость и надвывное стремление себя самого убедить в искренности своих порывов. Так что если, как я сказал, Блок совершил метафорическое, творческое саморазрушение и самоубийство, то третья смерть, смерть Маяковского, наложившего на себя руки буквально, также по-своему символична. А многие из оставшихся, выживших, не согласных в забвение, как Ахматова, — те без истерик, спокойно, как должно, восприняли идею разрушения «старья», то есть вечной культуры. Выстроили рядом с ее развалинами свои бараки временного пользования (будь то даже и не хрущобы, а тяжеловесный сталинский амипр); ориентировались на словесность близких целей, ограниченного действия. Да и нынешний культ «нового слова» — нового, будто достаточно самой по себе новизны, — какая это жалкая суета в узких пределах меж «старым» и «новым», без стремления к вечному. Словно не нас предостерегал Николай Гумилев, как подобает мужчине, беря вину на себя (не

Царскосельскому Киплингу

Пофартило сберечь

Офицерскую выправку

И надменную речь

...Ни болезни, ни старости,

Ни измены себе

Не изведет

и в августе,

В двадцат первом,

к стене

Встал, холодной испарины

Не стирая с чела,

От позора избавленный

Петроградской ЧК.

Владимир Корнилов.

Гумилев. 1967 год

«вы», а «мы»): «Но забыли мы, что осязано только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это — Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова».

Что ж, пребывать в скудных смертных пределах — наша общая участь, которую, к счастью, выводит за эти пределы Слово, стремящееся постичь неразрушимый смысл бытия. Лишь бы не сопротивляться этому стремлению, не быть ни погромщиками, ни самодовольными эгоцентриками.